ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА
МОСКВА
3 ФЕВ 1982

207

К 70-летию со дня рождения В. А. КОЧЕТОВА

ТАКИМ ЕГО ЗНАЛ...

БЕСЕДА серьезно затягивалась, но и он, Всеволод Анисимович, кого знал до этого лишь на бегу, «шапочно», и тем более я совершенно, казалось, забыли о времени, хотя оно, беспощадное и всевластное, настойчиво напоминало, что главному редактору журнала «Октябрь» надлежало заняться прямыми обязанностями: сотрудники уже не раз, приоткрыв дверь, заглядывали в кабинет.

Происходило это в пору глухого и на редкость затяжного предзимья шестьдесят восьмого года. Разговор непринужденно перекидывался с литературных проблем на общественно-политические и международные. И я в живости, простоте текущей беседы тем не менее отмечал, как вдруг остро-режуще остановится его взгляд, упор в упор, почудится на миг неуютность и вновь глаза его оживятся, согретые новой, интересной мыслью. И все же не в те часы, а позднее понял, что пытался он, пусть в первом приближении, «открыть» для себя мой мир и мои представления, — ведь вопрос решался не простой: занять мне пост заместителя главного редактора или нет?

В конце разговора сказал, отепляясь лицом, пряча под надбровья светлую хитринку:

— Ну вот что, ладно... Как, скажите, отнесетесь к предложению?..

И пояснил его. Согласие мое было дано.

Да, в той беседе с ним сложилось чисто эмоциональное, поверхностное впечатление о Кочетове — то, каким чаще пользовались люди, характеризуя его. Глубинное же, сущее приходило и кристаллизовалось потом, со временем.

Известно, что у некоторых людей, встречавшихся с ним впервые, сталкивавшихся лишь накоротке, мимолетно, не имевших возможности общаться и разговаривать долго, тем более не работавших с ним рука об руку, складывалось нередко представление о нем, как о суровом, даже жестковатом человеке — такое, скорее, вызывалось строгими чертами чуть удлиненного и все же правильного лица, упрямым, как бы давящим взглядом прищуристых, пронзительных глаз из-под привислых надбровий. Глаза его и в самом деле могли, как уже поминалось, вдруг обжечь лезвиистой остротой. Но то был вынужденный и своеобразный щуп, беспощадная устремленность — проникнуть в самую суть, вскрыть и постичь ее, будь перед ним человек или жизненное явление, возникшая сложная ситуация. И, однако, в глуби его глаз всегда таились, жили мерцающими, сокрытыми от посторонних взоров огоньками застенчивость и беззащитность...

А вот сердце у него, как у всякого неоспоримо большого таланта, с высоты которого многое в беспокойном человеческом бытии видней и ощутимей, но и оттого больней и жалостливей, — сердце его имело свою высоту, свой порог болевой чувствительности и абсолютную камертонную настроенность на доброе и искреннее, всегда честное отношение к людям.

Что ж, а в крутых психологических бурях, в схлестках страстей, где нельзя поступаться совестью и правдой, автор «Журбиных» мог быть и суровым, и беспощадным, но... всегда все же — справедливым. Подобная бескомпромиссность и стойкость — удел людей сильных, с самобытным сплавом убеждений и [illegible]

[illegible] у нашего города на Неве было бы [illegible] с связей. И по правду отрыв [illegible] ет нашу книгу разлад «Р[illegible] пожаре», в котором п[illegible] ставлены стихи вначале [illegible]

ции — в отделах, среди сотрудников.

...Шла редактура повести В. Собко «Четвертая рота», и в отделе прозы работа по тексту перевода складывалась трудно и напряженно; рукопись, лежавшая на столе редактора отдела, пестрела серьезными пометками и правками, и в этот момент сюда вошел Всеволод Анисимович. Острый взгляд редактора, скользнув, тотчас оценил происходящее, — над переносицей прорезалась складка, брови встопорщились под резким углом.

— Это что такое?

— Редактура...

Похлопал главный редактор себя по карманам — очки, выходит, забыл на столе в своем кабинете.

— Пожалуйста, можно ли ваши очки? — И, отступая к противоположной стенке, держа на отдаленье очки, хитровесело уже щурясь, наконец проговорил: — Ну вот, теперь вижу... Переписываете? А переводчик — человек опытный, пусть бы сам все и делал. Так что впредь... Вот так!

Добрым, все понимающим взглядом светились глаза, когда возвращал очки.

Как всякая, незаурядная личность, он — яркий пример человека сложностей и вместе — мужества литературного и жизненного, освещенного высокой мыслью, убежденностью и верой в правоту коммунистических идеалов. Затяжная болезнь заставляла его ложиться много раз в больницы — происходила подспудная и драматическая борьба человека и злого недуга. Вырывался из больницы Кочетов — и вот он тотчас в редакции, высокая его фигура возникает на пороге; лицо опало — бледное, но голос приветлив и бесконечно радостен: «Здравствуйте, товарищи!» Так всегда, с этим непременным — товарищи.

Точно шагреневая кожа, убывали сроки временных побед над болезнью. И все равно в каждый такой отвоеванный срок — работа до упоения в журнале: встречи с авторами, сотрудниками, обсуждения рукописей; работа над последним романом «Молнии бьют по вершинам», посмертно опубликованным в журнале «Москва»... Уже безнадежно больной, прикованный неодолимым недугом, снедавшим силы, он скрупулезно и рачительно следил и правил дела журнала. В ту пору завершалась редактура второй книги романа «Война» Ивана Стаднюка. В Переделкине, на даче, собрались члены редактората журнала, сотрудники отдела прозы. Все обратили невольное внимание: на прикроватном столике — увесистая стопка книг с многочисленными бумажными лентами-закладками. Подумалось вскользь: писатель и в такие, обреченные дни не обходится без чтения...

Каково же было удивление, когда он, выслушав всех, причастных к чтению рукописи, к ходу редактуры, сказал: «Теперь разрешите мне», — и потянулся к стопке: в ней оказались и его книги о военной поре, и главным образом мемуары наших полководцев. Высокую оценку давал он «Войне», однако и замечания, предложения его были разительными и точными, и по ходу рассуждений, обращаясь то к одной книге, то к другой, он подкреплял сказанное выдержками. Не просто, выходит, читал, — преодолевая жестокую, заламывающую сознание боль, собирая силы в кулак, готовился к разговору...

И все же другое встает передо мной каждый раз, когда думаю о Всеволоде Анисимовиче, — «дорога в детство», как я теперь называю для себя это путешествие. И все больше утверждаюсь в мысли, что именно сильным личностям дано в годину ясного и бестрепетного осознания — да, время сочтено, поступь чудовищного рока неотвратима, — совершить как бы прощальный круг, вернуться к началу жизни, к первым своим шагам по ней, чтобы проверить, в одном безмерном охвате ощутить всю свою жизнь, все содеянное в ней: все ли так, без жестоких ли просчетов она?!.

...Машины держали путь на Ленинград — через Вышний Волочек, а главное — Новгород, колыбель, родное гнездовье Кочетова. Августовская солнечная теплынь и чистое небо с зовущим бесконечьем мягкой, ровной голубизны входили в нас и растворялись щемящим чувством тоже безоблачной и беспредельной жизни. Прошлись по Волочку, воскресному, довольно оживленному, к берегу озера, застывшего в бело-голубом штиле с зеленым, будто парящим невесомо над водой островом, с неестественно белым старым храмом в центре. Стояли, любуясь дивной игрой красок, и Кочетов негромко заметил:

— Вот природа под все ставит знаменатель, под все человеческие страсти — и истинные, и ложные...

И мне почудилось: выплеснулось сокровенное, наболело таившееся. В ту пору не угасали, не утихомиривались страсти, разноречивая полемика вокруг его романа «Чего же ты хочешь?».

В Новгороде, в предвечерье, на излете тихо отходившего дня, мы неторопко бродили по городу, по его улицам, перестроенным, но с метинами старины. Вот она — улица Никитинская, еще сохранились деревянные дома, двухэтажные, рубленые, однако дома двенадцатого, в котором родился Всеволод Анисимович, нету,— и останавливаясь, он с рассеянной и глубоко ушедшей улыбкой рассказывает о детстве, шалостях, выдумках, самострелах и пугачах, какие мастерили тогда. Неподалеку крохотный скверик с кленами и липами — разгорожен, доступен всем, в беседках отдыхают разного возраста люди. Всеволод Анисимович молодо возгорается, оживленно, но и с той вдруг знакомо открывшейся застенчивостью поясняет: когда-то рядом была пекарня, и скверик был обнесен высоким, плотно зашитым тесовым забором, крашенным густой зеленью... Летними вечерами, когда накатывало прохладой с Волхова, собиралась в саду булочника местная торговая знать; гремел шепеляво граммофон, зачинались танцы, и купеческие парочки кружили под кронами деревьев и на веранде, — тогда шмыгали через забор мальцы, успевали схватить на временно опустевших столиках невиданное лакомство — мороженое...

Как-то заезжая труппа давала в театре «Евгения Онегина». В первый день, сидя на галерке, они с дружком Славой Силуяновым пришли «в великий гнев», когда на дуэли под пистолетом пал «такой хороший» Ленский. На другой день перед самым спектаклем с превеликими трудностями пробрались дружки в артистическую уборную, выкрали бутафорские пистолеты — пусть-ка теперь стреляет тот «злодей» Онегин!.. Шум, к вящей радости друзей, возник грандиозный, однако режиссер, припомнив в последнюю минуту строку: «Паду ли я, стрелой пронзенный...» — нашелся: дуэлянты стрелялись из луков...

Воспоминание зажгло его, весь он светился, жил и горел давними, не выветрившимися шалостями и горькими радостями детства.

Из Ленинграда мы возвращались в разное время. Встретились в Москве, в редакции, и он, несмотря на гнетущую болезнь, казался обновленным, готовым к борьбе за жизнь, за право и возможность вновь вдохновенно работать, и сердца его высота была настроена на самый высокий порог камертона. Сказал в естественном и чистом движенье:

— Спасибо, что вместе побывали в моем детстве.

Николай ГОРБАЧЕВ